



И. М. ХЕРАСКОВ

Как большевики захватили власть?

«Река времен в своем течении уносит все дела людей», «Медленная Лета» безжалостно и равнодушно проглатывает добро и зло, преступников и героев. Но есть вещи (и в частной, и исторической жизни), которые мы, с последней энергией, всеми доступными человеку путями, — и на весь доступный человеку срок, — должны вырывать из объятий Леты. Срок этот невелик (два, три поколения), а путей только два: «вечная память героям» и «суд истории».

«Октябрю», бессмысленно и бесчестно ограбившему Россию, «вечная», проклинаящая память обеспечена. Неотвратимо ждет его, в лице всех его участников и вольных и невольных подсобников, праведный суд истории.

Да он, видимо, уже и приблизился. Судебное следствие против виновных открыто, и обвинительный акт составлен. Одним из его ранних и пока частичных набросков является озаглавленный, как эта статья, исторический обзор Мельгунова.

Кому же будет история вручать свой обвинительный акт? Да и есть ли лично ответственные за «Октябрь»? Истинной виновницей является, может быть, безответственная по сути своей, стихия — народные массы?

Так или приблизительно так настроена, например, Е. Д. Кускова, для которой (см. Н. Р. С. 30–31. XII.53)¹ Октябрь — это социальная революция, совершенная бежавшей с фронта солдатской лавиной. Побороть эту стихию не было дано никому, против нее не нашлось тогда и не могло найтись ни одного надежного воинского отряда.

Стихией, ловко руководимой, правда, большевиками. В меру этого они, конечно, виновны, но «мера» эта так мала перед безмерностью силы стихии. Вероятно, и без большевиков она смела бы со своего пути ставшую поперек февральскую власть и в той

и другой ее ипостаси — «временного правительства» и «совета рабочих депутатов».

Прямо противоположное понимание Октября дает статья Е. Юрьевского «Год семнадцатый» (С. В. Ноябрь 53 г.)². Октябрь тут уже не победа масс, а удача заговорщиков. Удался же заговор потому, что люди, которые должны были его подавить (стоявшая тогда у власти «февральская интеллигенция», так наз. «революционная демократия») сделать этого не посмели или не смогли, и не потому, что были плохи, напротив, они были слишком хороши для эпохи «трагически преждевременно родившихся на свет». Нельзя представить себе Льва Толстого стреляющим из пулемета в народ или Алешу Карамазова пыряющим кого-то в спину ножом. Нельзя было представить себе и «февралистов», применяющими против большевиков (единственно целесообразную тогда) политику железа и крови. Для них это значило бы пожертвовать «цветами души» (выражение Керенского на Московском «Государственном совещании»)...

Обе эти концепции (я намеренно огрубил их — прошу у авторов извинения) чужды в одинаковой мере позициям Мельгунова, в котором восстает против них и объективный историк, и чистой воды демократ*.

Историк выдвигает факты: как это «не нашли отряда»? Тысячи мобилизованных офицеров рвались в Петербурге в бой против большевиков. Генерал Алексеев брался «завтра же» выставить из них пятитысячный надежный отряд. Специальным приказом военной власти им предписано было, однако, сидеть по домам. То же в Москве: «Для всякого непосредственного наблюдателя было ясно, говорит один из них, Мельгунов (319), что в первые дни восстания ничего не стоило одним коротким ударом ликвидировать руководивший восстанием большевицкий центр (ВРК)».

«Удара» не нанес, однако, никто. Да и странно было как-то вообще рассуждать о невозможностях после только что на практике показанного Лениным примера, на что бывает способна личная воля, когда она у человека имеется.

Есть историку что сказать и о революционно-демократических «цветах души». Гуманизм революционной демократии, скажет он, прежде всего, был не органический, не нутряной, а всего лишь партийный и «миросозерцательный». Чтобы ясно себе это представить, достаточно мысленно поставить в качестве реальной угрозы рев.-демократическому правительству не «ленинскую авантюру», а «вторую корниловщину», чтобы все его толстовство и карама-

* Статья Юрьевского написана по поводу книги Мельгунова.

зовство испарились, как дым. Нет, не «трагически-преждевременно», а трагически «запоздало» явилось оно на свет со своим народничеством шестидесятых годов, на добрую полусотню лет отставшим от века.

Тут вслед за историком в дискуссию вступает и демократ. «Без цветов души, — пишет автор “Года семнадцатого”, — демократия не может быть настоящей». Святая истина — подписываемся. Но есть, однако, и другая, не менее для демократа священная. Не может демократия быть настоящей без подхода к людям как к *гражданам*, т. е. ответственным за свое поведение лицам. Слабоволье и политическую слепоту людей, добровольно, в революционные дни, возложивших на себя бремя власти, демократ не может оправдать даже «цветами души». Не сумевший (не посмевающий?) в роковую минуту дать отпор врагам свободы «не имеет, — скажем словами Мельгунова (135), — морального права, в ответственный для судеб отечества час, брать на себя это бремя». А раз его взявши, прибавим, несут безоговорочную и полную ответственность за все под их ревнивой властью совершившееся.

На выдвинутый заглавием книги вопрос — «Как большевики захватили власть»? — Мельгунов, всем содержанием ее, дает определенный ответ: не волей народа, а безвольем стоявших в предоктябрьские и октябрьские дни у власти, во-первых; не в порядке нормальной исторической эволюции, а в результате роковых для России (и европейского человечества) *случайностей*, во-вторых.

Теории исторических случайностей в «Ульмской ночи» Алданова придана форма слишком категорического афоризма — «Историей управляет случай»³. Однако с небольшой, всего в одну букву, вставкой (и случай) и одной оговоркой афоризм этот для всякого непредубежденного и вдумчивого историка вполне, на наш взгляд, приемлем. Случайности случаются в истории с людьми, так что «цепи причинностей», которыми, по-своему, все же связаны и они, обоими своими концами (зародышем и исходом) упираются в конечном счете в чью-то человеческую, добрую или злую, волю.

Случайности типа чисто физического («нос Клеопатры», «ночной термидоровский ливень») в истории редки, и роль их обычно преувеличена. Более существенны и типичны случайности биографические. Чем крупнее при этом и ярче личность, тем чаще и естественнее случайности ее биографии становятся случайностями истории. Случайностями такого рода переполнена биография

Ленина. Среди них «пломбированный вагон» лишь ближайшая к нам по времени и ставшая, в наши дни, особенно популярной и приснопамятной.

* * *

Книга «Как большевики захватили власть?» безо всякого почти ущерба для точности могла бы быть озаглавлена и иначе: «Как революционные демократы сдавали большевикам свою власть?»

Следуя порядку изложения Мельгунова, попробуем выделить и подчеркнуть некоторые особенно показательные моменты этого процесса.

Решение захватить власть принято было большевиками окончательно на заседании их Ц. К. 10-го октября, в квартире Суханова. Назвав это заседание одним из самых значительных по последствиям во *всей мировой истории*, автор «Ульмской ночи» едва ли преувеличил: именно оно (яркий пример исторической случайности) на долгие годы решило судьбу России и европейского мира.

Решающую роль в решающем этом событии сыграл полубезумный революционный фанатизм «Ильича». Именно он не переубедил, а буквально смел, раздавил своим напором колебавшихся и сомневавшихся еще членов Ц. К. Бритый, в очках, в парике (он явился на собрание «из подполья») Ленин в течение десяти часов, без передышки почти, хлестал их своими страстными, но, как правильно подчеркивает Алданов, ложными аргументами — вроде «близости европейской социалистической революции», «гнусного предательства временного правительства, решившего сдать Петроград врагу» или «начинающегося по всей России бурного восстания крестьянства». «Не политический разум, — заканчивает Мельгунов свой рассказ об этом собрании, — руководил людьми, ставившими на карту судьбу России, а плохо осознанный революционный инстинкт — фанатизм».

Вопреки всему, что упорно утверждали впоследствии большевики, ни малейшего давления снизу со стороны «разбушевавшихся страстей народной стихии» на их решение оказано не было. Не было и того, на наличности чего особенно упорно настаивал, после событий, Троцкий — «подробно разработанного и тщательно продуманного плана восстания». Доля правды зато содержится в другом его, тоже после событий выдвигавшемся утверждении — что «исход восстания был заранее predetermined условиями движения» — тем, что Совет Рабочих Депутатов до переворота еще фактически обладал уже правительственным авторитетом, что и самому перевороту и его главному официальному кличу («вся власть Советам!») придавало, в какой-то мере, характер легально-

сти: представление о «Совдепе», как о параллельном Временному правительству органе государственной власти, органическим элементом входило в концепцию режима (гегемонии «демократических революционеров»), вошедшего в историю под кличкой «керенщины», и глубокая суть которого заключалась в истолковании демократии не как суверенной воли *всего народа*, а как власти «трудящейся» части его в ее противопоставлении нетрудящейся, или «цензовой» его части — в подмене Демоса, Народа с большой буквы, рабочим людом — народом с маленькой буквы — декоративным субъектом современных «народных республик».

Через четыре дня после исторического заседания «в квартире Суханова» состоялось расширенное собрание Петербургского совета рабочих депутатов, на котором революционная демократия, устами меньшевистского лидера Дана, подвергла большевиков «прокурорскому», как они потом выразились, допросу.

«Правда ли, — допрашивал большевиков Дан, — вы готовите вооруженное восстание против существующей государственной власти?» (Как будто в те дни могло еще быть в том какое-либо сомнение.) В стиле дельфийского оракула большевики отвечали приблизительно так: «Ни дня, ни часа выступления мы не знаем. Но если народные массы восстанут за землю и мир, за хлеб и свободу, мы будем с восставшими в их первых рядах». В том же дельфийском стиле была составлена и принята Собранием после «прокурорского допроса» резолюция. «В ней заложены были начала всей последующей тактики “революционной демократии” в критические октябрьские дни» (Мельгунов, 36). Она опиралась на двух китов — на упорно внушаемую себе уверенность в несерьезности задуманной Лениным авантюры и на панический страх «надвигающейся на страну кровавой корниловщины».

Характерно в этом смысле «изумительное» (Мельгунов) «воззвание к народу», выпущенное 13-го октября официально порвавшим уже к этому времени с большевиками Петербургским «Советом». О большевиках в нем не говорилось ни слова, но зато рабочие Петербурга предупредились: «Темные силы работают над тем, чтобы вызвать в ближайшие дни в Петрограде и других городах погромы и беспорядки. Цель их ясна: они хотят получить возможность потопить в крови революционное движение; под предлогом восстановления порядка водворить ту самую корниловщину, которую революционному народу удалось раздавить недавно. Торжествующая контрреволюция уничтожит советы и войсковые комитеты, сорвет Учредительное собрание,

приостановит переход земли к крестьянам, покончит с надеждами народа на скорый мир и наполнит тюрьмы революционными солдатами и рабочими».

Боязнь очутиться вдруг не с рабочими массами, а с их противниками, губя большевиков, погубить революцию — определенно толкала «революционную демократию» к примиренчеству с большевизмом: большевики, пошедшие за Лениным — временно заблудившаяся часть рабочего класса; авантюра их обречена на скорый провал, и правительству справиться с ней будет нетрудно.

Эту последнюю мысль, по совершенно другим, правда, и далеко не лишеным притом серьезного основания мотивам, разделяла в те дни и кадетски настроенная общественность — вся масса тогдашних «корниловцев». Им думалось (верилось), что охота «углублять революцию» у народа прошла, что ее сменила жажда спокойной жизни и созидательного труда и что даже в рабочей среде — в «пролетарских и солдатских массах» — ленинизм никакого энтузиазма более не вызывает.

Да и сами большевики, несмотря на оглушительность своего первого, неожиданного для многих из них успеха (захват Зимнего Дворца и арест Временного правительства), далеко не вдруг поверили в окончательную реальность своей победы. Малейший слух о приближении к Петербургу верных правительству военных частей повергал их в такую панику, что Керенский мог вполне искренно всего через три дня после переворота телеграфировать генералу Духонину в ставку: «Большевизма как организации в Петербурге больше не существует».

По свидетельству личного друга Ленина, Соломона, в панику в Смольном впадал вместе со всеми и сам Ильич: «За все время моего многолетнего знакомства с Лениным, писал Соломон, я ни разу не видал его в таком растерянном состоянии».

И было от чего растеряться. Подлинный голос российского народа прозвучал определенным протестом против захватчиков немедленно после переворота. Это была единая, стихийно вспыхнувшая по всей России забастовка всей служилой интеллигенции от персонала всех министерств до сельских народных учителей включительно. Она привела в немалое смущение самозванную власть. Подлинно народное отношение к перевороту обнаружилось и в Петербурге в виде целого ряда знаменательных манифестаций. 26-го октября толпа рабочих городской электрической станции разоружила на Невском проспекте большой (в пятьдесят человек) красногвардейский отряд. 28-го октября

делегаты рабочих Обуховского завода (в составе 20 человек), на совещании Викжеля (Всероссийского Союза железнодорожников) с представителями не разогнанных еще тогда большевиками социалистических партий, возбужденно настаивали на «немедленном прекращении гражданской войны». «Кто вас разберет, кто из вас прав, — гневно кричали рабочие, — всех вас на одном дереве стоит повесить». Волна бурных митингов протеста против гражданской войны прокатилась 29-го и 30-го октября по всем петербургским заводам.

А что касается революционных настроений петербургского гарнизона, то, по признанию самого Троцкого, «преувеличенность представлений о нем» выяснилась почти сразу после ареста Временного правительства, а петербургский «главнокомандующий» Антонов-Овсеенко говорил уже прямо о «катастрофическом разваливании петербургского гарнизона».

А российская армия на фронте? Была ли она, на самом деле, истинной совершительницей «октябрьской революции», как уверяет в упомянутой выше статье Е. Д. Кускова?

Опираясь на показания современников-очевидцев, Мельгунов не колеблясь отвечает на этот вопрос отрицательно: «Если бы представленная революционной демократией фронтовая общественность, — пишет он, — с самого начала заняла бы определенную, недвусмысленную позицию, она без труда смогла бы повести за собой солдатскую массу». Настроение на фронте, утверждают свидетели-очевидцы, было самое большее выжидательным, а местами, на кавказском фронте, например, явно, по официальным донесениям в ставку, большевикам несочувствующее. На Юго-Западном фронте между сторонниками большевиков и их противниками случались кровавые схватки. В Виннице, например, — докладывал 30 октября Главковерху генерал Духонин, — произошло подлинное сражение с участием на обеих сторонах танков и авионов, в результате которого большевики были обращены, к вечеру, в бегство». Автор «Защиты Всероссийского Учредительного собрания» (Арх. русск. рев. XII), Соколов, на основании личных непосредственных наблюдений утверждает, что в октябрьские дни «фронт оставался самым здоровым во всей стране элементом». И факт, наконец, остается фактом: между 25-м и 30-м октября на помощь Временному правительству двигалось с фронта не менее пятидесяти боевых эшелонов, тогда как на помощь большевикам не двинулось ни одного...

Россия и после переворота продолжала некоторое время, номинально, оставаться под управлением Временного правительства, сперва эфемерно возглавлявшегося выехавшим на Гатчинский фронт председателем его Главковерхом Керенским, а после его ухода с политической сцены под флагом составившегося из представителей старого Совета рабочих депутатов и партийных («нецензовых») организаций «Всероссийского комитета спасения революции и России».

Комитет этот, впрочем, знамя Временного правительства вскоре свернул, заменив его собственным, революционно-демократическим флагом. В роли главного вождя «антибольшевицкой борьбы» оказался теперь более левый, чем Керенский, социалист-революционер, Виктор Чернов.

Для этих «эсеровских большевиков», как прозвал их правый меньшевик Потресов, или «большевиков 2-го сорта», как презрительно обзывал их Ленин, задача борьбы с «обанкротившейся уже большевицкой авантюрой» быстро отступала на задний план перед более важной в их глазах задачей «концентрации сил революции против надвигавшейся справа реакции».

Центральный орган социалистов-революционеров (от 3-го ноября) вполне определенно заявил, что их партия «не является партией борьбы с большевицким правительством» и что «с рабочими, временно пошедшими за большевиками, она не воюет». Гатчинский, в защиту Временного правительства, поход Керенского авторитетнейшим вождям революционной демократии (вроде меньшевистского лидера Церетели) рисовался уже теперь как «белая авантюра».

«Злой гримасой какой-то отразились в зеркале истории торжественные слова Керенского — 4 августа в заседании Петербургского совета рабочих депутатов — “Свою работу в пользу демократии мы дешево не продадим”. На деле 25-го октября честь демократии и судьбу страны защищала группа ударниц из женского батальона, две-три роты юнкерской молодежи да сорок инвалидов (георгиевских кавалеров) с капитаном на протезах во главе» (Мельгунов, 136).

Ленин и после переворота готов был считать свое дело в смертельной опасности. «Банды Керенского раздавят нас», — говорил он посетившему его в Смольном Раскольникову. И раздавили бы, найдись тогда среди руководивших антибольшевицкой борьбой революционных лидеров смелые и не ослепленные «идеалом» люди, способные трезво взглянуть на действительность. А то ведь из уст самых видных из них раздавались примерно такие речи: «Не от большевиков должны мы спасти революцию, а от буржуазии. Временно она молчит, но в молчании ее слышна угроза залить революцию кровью... Вся буржуазная кадетская партия

объединена лозунгом кровавой расправы с большевиками, а ни малейшему сомнению не подлежит, что ликвидация большевицкой власти, это расстрел пролетариата. Вред, который большевики приносят сейчас, не так велик, как будущий — когда начнется с ними расправа». Эти и другие того же смысла слова произнесены были признанным меньшевистским лидером, Ираклием Церетели, на заседании собравшихся в ноябре по инициативе Петербургск. городской думы представителей городского и земского самоуправления (так наз. «Земского собора») и на собрании нелегального уже тогда «Центрального бюро совета рабочих депутатов»... Те же мысли, одновременно с Церетели, развивал на страницах центрального органа «Бунд» (еврейского рабочего союза) другой меньшевистский лидер Абрамович, а на страницах «Дело народа» официальные представители эсеровской партии. «Большевики, — писали эсеры, — победили на севере; Каледин победил на юге. В целях разгрома революции они протягивают друг другу руку, наша задача — бить по обеим контрреволюциям — по калединцам силой оружия, по *большевикам силой организации*».

«Большевики, — заявлял со своей стороны Абрамович, — это — движение малосознательной части рабочего класса. Так против кого же нам бороться? Не против же этих масс? Нам ли, сознательным социал-демократам, меньшинству того же рабочего класса, объединяться с буржуазией и мелкобуржуазной частью армии, чтобы огнем и мечем раздавить большинство рабочего класса?! Что же скажет о нас тогда будущая история русской революции?»

История русской революции и сейчас уже не говорит, а кричит, что именно объединением с «буржуазией и мелкобуржуазной частью армии» на предмет вооруженной борьбы с большевиками, *и только таким путем*, тогдашняя ответственная правительница России «революционная демократия» выполнила бы свой и патриотический, и демократический, и революционный долг и тем самым оправдала бы самой же ею возложенное, в году семнадцатом, на себя бремя ответственности за судьбы России и всех ее классов, в том числе и рабочего.

Государственный переворот 25-го октября был удавшейся заговорщицкой авантюрой. Страна, в октябрьские дни, за заговорщиками не шла, самое большее — выжидала; морально большевики оставались тогда одинокими.

Подлинное большевицкое движение — трагический плод мировой войны и существенный элемент порожденной ею революции — началось и быстро разлилось по стране лишь позднее — после нелегко давшейся большевикам победы в Москве и после связанного с нею краха народных упований на Учредительное

собрание. Победа эта с последней ясностью вскрыла неспособность «революционной демократии» спасти страну от анархии и создать необходимую для всероссийского строительства спокойную нормальную атмосферу.

* * *

«Московская неделя» продолжала и завершила собой петербургские октябрьские дни.

Здесь была «неделя», там — один фактически день (25-го октября) — вот и вся разница. В остальном Москва была лишь углубленной и усложненной вариацией Петербурга. И там и здесь события управлялись часто случаем. И там и здесь царил бросаемый судьбе вызов — «авось»! И там и здесь, наконец, состязались между собою два мифа о большевизме — как массовом пролетарском движении, во-первых, как «мыльном пузыре» — во-вторых. «Придет дворник истории, — писал во “Власти народа” Н. Валентинов, — возьмет в руки швабру и сметет всю эту нечисть в свой мусорный ящик».

Два мифа, как будто прямо друг другу противоположные и друг друга исключавшие, исходили из общей основы — из того факта, что «спасали» революционные демократы не Россию, а «революцию» и подлинным врагом своим считали не большевизм («временно заблудшуюся часть рабочего класса»), а надвигавшуюся «кровавую контрреволюцию справа». Первый миф внушал им сокровенную симпатию к большевизму и нерасположенность к действенной с ним борьбе; второй — надежду, что все «само собой образуется» и без серьезной борьбы. Различными путями, но оба снимали с их совести тяжкий грех союза с «буржуазными и мелкобуржуазными» цензовиками, один делал его бессмысленным («восставший пролетариат свое все равно возьмет»), другой ненужным («пролетариат опомнится сам»).

Оба мифа в равной мере были далеки от реальности; истина, как это часто случается, лежала посредине: «мыльным пузырем» большевизм, разумеется, не был, но стать им мог, не прими тогдашнее правительство России ленинизма за движение народное, «пролетарское».

Оба мифа находили себе пищу в унаследованном от старого еще режима и дожившем в лево-интеллигентской среде вплоть до октябрьских дней представлении о русском офицерстве как сословной, чуждой «народу» касте. Но если даже этот кастовый дух и сохранялся еще в какой-то мере в воспитанном кадетскими корпусами кадровом офицерстве начала войны, сплошь почти погибшем в первых боях, то в новом, пришедшем на смену ему офицерстве юнкерских училищ и школ прапорщиков от него

не оставалось уже никакого следа. Это были в массе своей подлинные «сыны народа» и «разночинцы» — питомцы духовных семинарий, реальных училищ и прогимназий, вместе со всем народом радостно встретившие обновление родины и ждавшие спасения от Всероссийского Учредительного собрания...

Не представляли угрозы обновленному строю и лучшие представители высшего командного состава. Генералы Алексеев, Корнилов, Каледин ни социалистами, ни марксистами не были, но не были врагами и правовых начал и гражданского равенства. Слоганы о «потоках рабочей крови», которую они будто бы собирались пролить, были сплошь либо созданием ленинской демагогии, либо пережитками революционной романтики 60-х годов. Зама-терелому в идеях старому эсеру Минору при виде безобразий, творимых большевиками после их московской победы, мерещились ворвавшиеся в Москву Каледин и Корнилов: только они (в этом был Минор убежден) способны были громить пушками Кремль и прихлопывать социалистические газеты. Когда же большевицкая пресса к лику Калединцев причислила и Минора, бедный старик готов был пустить себе пулю в лоб «от такого позора».

«В корниловские дни, — ораторствовал в Московской городской думе избранный демократический городской голова социалист-революционер Руднев, — мы сумели сплотиться для спасения суверенной власти народа. Во имя той же цели сумеем сплотиться и теперь в большевицкие дни». Оратор упускал из виду коренную разницу двух эпох, разницу роли в них революционной демократии. В «корниловские дни» большевики были ее союзниками в общей борьбе против цензовых элементов. В «большевицкие дни» судьба превращала эти элементы в союзника революционной демократии в общей борьбе против вчерашних ее союзников большевиков-ленинистов. Тогда под лозунгом народного суверенитета революционная демократия спасала монопольную власть трудящихся: теперь вместе со всей страной и трудящимися ей предстояло спасать от красных фашистов демократические свободы и власть народа.

По своей политической незрелости и мировоззренческим пред-рассудкам она этой разницы учесть не смогла и против своего сознания и воли оказалась в положении героя известной народной сказки, который со свадебным приветом явился на похороны...

По образу петербургского «Комитета спасения революции и России» и в той же психологической атмосфере в Москве был образован «Комитет общественной безопасности» (КОБ), взявший в свои руки дело защиты Москвы «от погромов и анархии» (чьих именно не указывалось). На этот раз это была уже чисто партийная,

эсеровская организация: «цензовые элементы» в нее допущены не были, а меньшевистская половина революционной демократии от участия в ней отказалась, ссылаясь на «недопустимость для социал-демократов вооруженной борьбы против хотя бы и заблуждающегося в настоящем своем выступлении рабочего класса».

Отрекся КОБ и от всякой связи с Временным правительством, поскольку оно и после переворота морально еще существовало в лице своего заключенного в тюрьму большинства и агентов оставшегося на свободе меньшинства. Этим последним КОБ даже с чисто информационными заданиями на свои заседания не допускал. И уже, конечно, как это было и в Петербурге, ни в какой мере не использовал КОБ и тех десятков тысяч мобилизованных офицеров, которые, по официальной позднейшей статистике, проживали тогда в Москве. Самочинное же их (офицеров) выступление не могло не свестись, конечно, к весьма скромной цифре скольких-то, вместе с кучкой студентов и гимназистов, сот человек. «Если этот элемент (студенты, гимназисты, интеллигенты), — писал 8-го ноября в Ставку генерал Алексеев, — оказался в Москве раздавленным, то исключительно потому, что не имел ни предварительной организации, ни определенного руководства». А что касается тогдашнего московского «военкома», полковника Рябцева, то он вел себя так, что и генерал Алексеев, и сражавшаяся на улицах юнкерская молодежь серьезно подозревали его в предательстве и измене. По выражению Мельгунова, он «был загипнотизирован словоговорением и всю свою боевую задачу видел в переговорах с большевиками». Позднее, в личной беседе с близко знакомой ему Е. Д. Кусковой, он признавался сам, что идти против большевиков ему мешало сознание, что за ними стоял рабочий класс, а против шли лишь реставраторы старого строя. Ту же точку зрения разделяла, в сущности, в лице своих лидеров, вся тогдашняя «революционная демократия»: их страшила не столько перспектива конечной победы в стране захватчиков, сколько близость кровавой реакции, символически рисовавшейся им в образе генерала Корнилова: «вот-вот придет и раздавит изнемогающий в междоусобице пролетариат». И совсем уже чуждо было сознанию московского КОБ-а понимание всероссийского размера висевшей над московской столицей беды и всероссийского же размера ответственности, ложившейся, по воле судьбы, на плечи людей, присвоивших себе монополию ее защиты.

А повстанцы в Москве, несмотря на петербургский успех авантюры, долгое время не чувствовали еще себя победителями и склонялись скорее к психологии побежденных. Был момент (после занятия Кремля юнкерами 28.X), когда дело большеви-

ков действительно казалось проигранным и когда их делегаты, явившиеся в Городскую думу для переговоров с КОБ-ом, готовы были принять все поставленные в ультимативной форме условия вплоть до немедленного прекращения вооруженной борьбы и сдачи КОБ-у всего оружия.

Возможно, конечно, что это смирение и сговорчивость большевиков диктовались им простым желанием выиграть время (предвосхищение будущей советской тактики «розовых дворцов»), но возможно, что положение их и действительно становилось временами критическим и что от гибели их спасали лишь колебания КОБ-а, обезволенного паническим страхом корниловского вторжения. Силы большевиков в Москве были вначале ничтожны: ни рабочая, ни солдатская масса сколько-нибудь активно большевистское дело не поддержала, и общее настроение ее оставалось выжидательным. Показательна в этом смысле резолюция, принятая 30-го октября многочисленным (свыше 1000 человек) митингом рабочих Сытинской типографии. «Общее собрание рабочих типографии, — гласит эта резолюция, — с одной стороны, не желает идти против рабочего класса и солдат, увлеченных большевицкими лозунгами и под большевицким руководством выступивших с оружием в руках на улицах Москвы, но, с другой стороны, не может поддерживать явно гибельную для рабочего класса и революции политику большевизма. Рабочие типографии приложат все усилия, чтобы повлиять на обе стороны в смысле немедленного прекращения гибельной бойни и в смысле единства революционного фронта *ввиду близости Учредительного собрания*».

Меньшевицкий «Вперед» имел, вероятно, основания писать вскоре после большевицкой победы: «В безумные дни, когда от имени рабочего класса самозванно грохотали в Москве пушки, рабочий класс *молчал*: лишь незначительная часть его, вступившая в красную гвардию, на деле показала сочувствие большевицкой затее».

Даже после сдачи Кремля большевикам (3. XI) и официального прекращения вооруженной борьбы вполне победившими они еще не были, и только с подходом из Петербурга матросских отрядов окруженный ими и латышскими стрелками ВРК на Скобелевской площади почувствовал себя в более или менее крепком бесте (Мельгунов, 372).

Падение Москвы, в процессе захвата большевиками власти, было событием решающим. Только теперь, утвердившись в Москве, могли они почувствовать себя хозяевами страны.

Почувствовать — да, но предстояло еще *стать* ими. Это удалось им не сразу. Во многих (в большинстве) губерниях, городах

и уездах Северной и Центральной России (о Юге, ставшем ареной противобольшевицкой войны, и говорить не приходится) положение неделями и месяцами оставалось неопределенным. Рядом с новой почти *всюду насильно втиравшейся властью* (часто это были незнакомые, неизвестно откуда пришедшие) продолжали функционировать и признаваться населением до-октябрьские учреждения — губернские комиссары и органы местного (успевшего местами реформироваться демократически) земского и городского самоуправления. (Еще летом 19-го года земства функционировали в Вологодской губернии.)

Захвату большевиками страны в книге Мельгунова посвящены специальные, так и озаглавленные страницы, их там всего пять: история захвата страны ждет еще специального исследования и детального изучения.

Общенациональный, всероссийский смысл и значение антибольшевицкой борьбы тех лет так до конца и не вошел в сознание руководивших ею революционных демократов.

Последний жест их ответственных представителей в момент окончательного заката их незадачливой партийной диктатуры выявил с предельной ясностью неспособность их, даже в такой судьбоносный для родины миг, каким был канун открытия долгожданного всей страной Учредительного собрания, сойти со своих узко партийных позиций, подняться до позиции государственной, общенациональной. При возмущенных протестах правых социалистов (оправдавших этим свой титул «народных») революционные демократы отказались допустить в организованный ими «Союз защиты Учредительного собрания» членов партии «Народной свободы» (кадетов), несмотря на то, что партия эта имела уже в Учредительном собрании своих народом избранных депутатов.

Этим «прощальным» жестом они показали наглядно, что за период своей политической гегемонии, вплоть до последнего ее дня, они ничему политически свежему не научились и ничего из ветхих формул своего партийного катехизиса не забыли.

* * *

Падением Москвы открывался для «советской» уже (увы) России четырехлетний период героической гражданской войны. «Молодые самоотверженные защитники Москвы вместе с молодежью других северных городов потянулись в одиночку на юг вставать под славные знамена возглавленного Алексеевым и Корниловым добровольчества».

Этими словами Мельгунов заключает свое повествование о том, «как большевики захватили власть». Период уговаривания большевизма революционной демократией и ее соревнования с ним в борьбе за российскую гегемонию сменился периодом вооруженной борьбы свободолюбивой страны с насевшими на нее самозванцами. Тяжесть ответственности за судьбу родины, потрясенной мировой войной и революцией, целиком почти падавшая в октябрьские и предоктябрьские дни на плечи «революционной демократии», на добрую половину перемещалась теперь на плечи «корниловцев». Праведный суд истории ждет, конечно, и их.

Да и не их одних, а всех нас, сынов России, каждого в свою меру, в своей области и на свой манер виновных за свалившуюся на нее злую «советскую» беду.

От махровых и полумахровых черносотенцев, от ленинцев и полуленинцев до городских и сельских «Иван Иванычей», от предержавших властей до мелкой, чиновной и нечиновной сошки — дистанция огромного размера, лестница ответственности нисходящая от почти безмерности до почти нуля (полного нуля не достигающая, однако, нигде).

На какие же выводы сейчас уже наталкивает нас открытое Мельгуновым «судебное следствие»? Что самое главное мы сейчас уже узнаем из него об октябрьском перевороте и что самое поучительное можем сейчас уже из него извлечь и твердо «навек» запомнить? *Узнаем*, что Октябрь был делом не «народа» и не «пролетариата» даже, а злой, ослепленной революционным фанатизмом Ленина политической секты. *А навеки запомнить можем*, что у секты этой невольной подсобницей, в ее недобром деле, оказалась другая политическая секта — обезволенная своим старозаветным политическим «миросозерцанием» часть российской интеллигенции, сама себе давшая претенциозное прозвище «Революционная демократия»...

Все это, конечно, прошлое, уже — невозвратное, непоправимое. Но как у Пушкина в сказке о Петушке:

В прошлом этом есть намек
Добрым молодцам урок...

